

Праздник

Мой первый урок в политике преподавал мне наш сосед Гриша — отец моего лучшего друга Шурки. Гриша был простой человек — портной-брючник, шивший на заказ в маленьком ателье на углу Екатерининской и Малой Арнаутской недалеко от знаменитого на всю страну одесского Привоза. На мой наивный вопрос: "Как же так? Если наши вожди — в Москве, что ни есть на самом верху, то значит они — самые умные?" — Гриша положил руку мне на плечо, уперся своими близорукими глазами в мои глаза — черные и чистые, как асфальт после майского дождя, — и тихо сказал:

— Они все — сплошной гурнышт.

Для меня, шестнадцатилетнего парнишки, это было открытием. Я не спросил его, почему он так думает, но его слова запомнились мне надолго, и когда я пришел ветренным осенним утром на октябрьскую демонстрацию, и военрук техникума Шмырин всучил мне портрет одного из наших вождей, то я не был уверен, что несу портрет хорошего человека.

Шмырин — подполковник в отставке — был плоский, как гладильная доска, и в глазах его всегда горел серый злой огонь. Хотя после окончания войны прошло почти десять лет, он все еще был одет в военных времен китель со стоячим воротником и фуражку с кокардой. Шмырин вложил мне в руки портрет, а потом, через пять минут, видимо, не доверяя моему специфическому носу, вернулся, и звеня медалями, как цыганка бубном, предупредил:

— Если выбросишь по дороге — вышвырну из техникума!

Портрет размером почти метр на метр, на котором в нежных пастельных тонах был изображен пожилой лысый тип в очках, был тяжеловат для моего хилого телосложения, и я нес его, в основном, на плечах, так что мой вождь глядел не в светлое будущее, как полагалось, а в набухшие влагой, как слезами, тучи на холодном ноябрьском небе.

Только у трибуны на площади, где вожди местного значения с красными, как у нашего участкового милиционера Куценко, лицами, одетые в габардиновые макинтоши и велюровые цвета морской волны шляпы, махали нам ручками, я поднял моего очкарика и вместе со всеми заорал "ура". Я прокричал еще что-то нечленораздельное — то, что кричали все вокруг, — и заткнулся. Портрет давил мне плечо, и я опустил его, так что он глядел в бульжную мостовую и не видел тех, кто изо всей мощи своих промытых алкоголем легких кричал ему с трибуны:

— Да здравствует!..

От голода и усталости меня поташнивало, и когда за площадью я увидел техникумовский грузовик, то первым прибежал к нему и, выждав момент, когда военрук Шмыгин глядел в мою сторону, положил портрет в кузов.

— Аккуратнее, студент Вайншток! Аккуратнее!

Я спешил домой, обходя группки мужиков, толпящихся возле забеголок. Уже недалеко от нашего угла хорошо подвыпивший тип прицепился ко мне:

— Эй, кореш, третьим будешь?

Я припустил — и в один момент оказался у ворот нашего дома, где Фира — Шуркина мама — доказывала что-то старухе Мане, нашей соседке по коммунальной кухне, у которой на маленьком изрытом морщинами лице выделялся громадный, как противотанковый ров, рот. Моя мама говорила, что у нее черный рот и что лучше не попадаться ей на язык. Маня извергала проклятья на голову всех на этом и на том свете, начиная от членов правительства и кончая собственными детьми.

Фира увидела меня:

— Ленечка, куда ты так бежишь? За тобой кто-то гонится? Куда смотрит милиция, если за таким хорошим мальчиком бежит какой-то хулиган! Беги уже прямо к нам. Через минуту будет готов обед, и ты же знаешь, что ты у нас как родной.

Маня решила, что я бежал совсем по другой причине, и пыталась подцепить меня на крючок:

— Напрасно так спешишь, молодой человек. Ты даже не можешь себе представить, что творится во дворе. Половина демонстрации, чтоб их паралич разбил, забежала в наш дворовой туалет. Такой очереди я не видела даже утром за молоком. Так что передохни минуту.

— Маня, что вы цепляетесь к мальчику? Вы же видите — на нем лица нет. Вы обязательно должны испортить людям праздник...

— Вам хорошо — ваш муж гребет миллионы, и вы могли построить себе туалет. А где нам, бедным людям, прикажете писать?

Фира отвернулась, и не сказав ни слова, отошла от Мани.

Вы спросите, почему Фира промолчала?

Потому что Фира работала кондуктором в трамвае и побывала в стольких перепалках, что знала, какому пассажиру нужно ответить так, чтобы у него в глазах потемнело, а какому — просто промолчать. С Маней она знала наверняка, что нужно промолчать.

Моя мама тоже не решалась вступать с Маней в открытый бой. Не только мама, но даже торговки с Привоза, где Маня до войны торговала куриными частями, обходили ее стороной.

Даже со своей дочкой Раей Маня жила как кошка с собакой. Кошка хотела выцарапать глаза у собаки, а старая собака хотела только одного — не слышать кошкиного духа.

Дело было в том, что Манина дочка Рая гуляла с шейгецом матросом до поздней ночи, и когда она возвращалась, Маня пыталась разбить на ее голове единственную вазу, которая осталась от покойного мужа Хаима — последнего шойхета на Новом базаре. Маня в свои семьдесят лет еще торговала "на стакан" жареными семечками у входа в баню Исаковича, но по скорости уже, конечно, не могла поспеть за юркой Раей. Неимоверные проклятия сыпались на несчастную Раину голову, но ваза после ночных скандалов всегда оставалась целой.

Фира была тихой женщиной. Ей хватало того, что у нее было три сына и муж Гриша, который был контужен в голову на фронте, и это отразилось на его нервной системе. Во дворе Гриша был самым тихим среди соседей. Утром, идя на работу, он неслышно спускался по лестнице, нависшей, как шея жирафа, над дворовым туалетом, а затем, прижимаясь к стене подъезда, проشمывал на улицу. Гриша не мог терпеть расхлябанности трех своих сыновей и всегда ставил им в пример меня:

— Посмотрите на Ленечку. Он тихий мальчик — его же никогда не слышно. А вы? — и тело его раскачивалось из стороны в сторону, как маятник. — Что я могу сказать? А зохын вэй...

Моему деду при встрече он каждый раз говорил:

— Сосед, вы знаете что? Я люблю вашего внука больше, чем моих бандитов. Мы с женой на них всю нашу жизнь положили, а они ее нам — поломали. У одного только бокс и девочки в голове, второй помешан на английском, а третий целый день бьет стаканы, чтоб ему уже жизнь разбилась.

Мой дед внимательно выслушивал Гришу и потом говорил:

— Гриша, вы еще счастливый человек, что у вас три сына, а не три дочери, не дай Бог.

Фима тяжело вздыхал, опускал голову и отпуская деда.

— Гриша — хороший человек, но он таки мишигинэ оф эн гонцы коп, — говорил дед моей маме, зайдя в дом.

В каком-то смысле Гришу можно было понять. Хотя только младший сын Борька продолжал ронять на пол и бить стаканы, — Шурка, старший сын, и средний, Яша, тоже мало радовали его.

Шурка был отпетым лентяем и двоечником в школе, но Бог дал ему плечи, как два пушечных ядра с французского фрегата, обстрелявшего Одессу в Крымскую войну, и не по годам короткую бычью шею, и он подался в спортивное общество "Динамо", где им заинтересовались не только тренеры из боксерской секции, но также девочки-гимнастки.

Яшке Бог не дал такие плечи, как старшему брату, но зато он получил от него удивительную память, так что в свои четырнадцать лет он знал тысячи английских слов и мечтал о несбыточном — поступить в университет и уехать в Америку.

Не успел я переступить порог Шуркиной квартиры, как Гриша сел на своего конька:

— Вот молодец, что зашел. Ты же единственный мальчик во дворе, которого я и Фира любим. Тихий и послушный. Не про наших балбесов сказано. Правда Фирочка?

— Гриша, ну хотя бы в праздник можно отдохнуть от твоих штук? — взмолилась Фира.

— Я же ничего не говорю. Но это правда, что кроме бухвэйтык мы от наших деток ничего не имеем.

— Гриша! От тебя уже все беременные стали. Давайте сядем за стол, а то все с голода умирают.

— Всё! Я молчу, как рыба об лед. Давайте кушать...

И все начали молча накладывать в свои тарелки еду, которую приготовила Фира.

— А ну, Шурик, сними этот бутыль с вишневкой с шифоньера! Все-таки сегодня какой-никакой, а праздник, и надо выпить а бысылы.

Сказать чтобы Шурик был счастлив от идеи выпить вишневки в честь Великой Октябрьской революции, — так нет. В один момент он стал очень серьезным, и его лицо побледнело, как после нокаута. Яшке тоже стало не по себе, и он заерзал на своем стуле.

А причиной этому было то, что еще месяц назад, когда Гриша и Фира, как обычно, днем были на работе, Шурка с Яшей начали дегустировать содержимое бутыля. Делали они это много раз, и так как уровень вишневки внутри катастрофически опустился, то во избежание неприятностей они долили вовнутрь воду. Что в итоге получилось — никто не мог предположить, потому что у обоих по химии была слабая тройка.

Когда Шурик по приказу отца снимал пятнадцатилитровый бутыль с шифоньера, то руки его дрожали не только от тяжести. Но он напрягся и поставил бутыль на стол.

— Шура, ты у нас самый сильный в семье. Смотри, какие у тебя мускулы. Давай разливай! — командовал Гриша.

Но Шурка не спешил разливать. Он переглянулся с Яшкой и вдруг застонал:

— Ах, черт! Я вывернул локоть с этим проклятым бутылем. Кто сейчас пьет вишневку?

— Я пью! — Гриша встал со стула. — Я люблю вишневку. И чтоб мне не сойти с этого места, если ты не нальешь мне сейчас!

— Гриша, ты что, не видишь, что мальчик поломал себе руку! — Фира набросилась на мужа.

— А ну тебя к черту! Я не знал, что мой сын такой гирутэнэр. Я сам разолью!

Гриша подошел к бутылю. Лицо налилось кровью, а в глазах были злость и угроза. Это, как говорил мой дед, у Гриши мышигас начал выходить наружу.

Когда Гриша открыл бутыль, Шурка и Яша уже встали со своих мест. Но если у Шурки путь к двери был свободен, то между Яшкой и дверью стоял Гриша.

Чесночный запах от остывающих котлет перемешался с запахом надвигающейся грозы. Был всего лишь ноябрь, но молнии уже сверкали где-то за Пересышью, и через минуту они готовы были стрелнуть в квартире у Зильберштейнов.

Гриша поднес ко рту рюмку с жидкостью, которая была уже не чем иным, как малинового цвета уксусом. Что-то неладное творилось с ним. Это было видно по Гришинуму посиневшему носу и по черным полукружьям под глазами. Он повернул голову в Шуркину сторону, но того уже след простыл. Тогда он схватил Яшку за волосы, подтянул его к себе и с силой вдавил в сиденье стула.

— Пейте вино, бандиты! Пейте густую кровь контуженного командира! Вы мало издевались надо мной, так сейчас я скажу вам большое спасибо! Спасибо за праздник! — орал Гриша.

Глаза его были пусты, как бывают пусты дома, когда из них вынесли всю мебель.

— А ты, английская твоя морда! Ты сидишь тихо! Ты ничего не знаешь? Ну ничего, теперь ты у меня все узнаешь!

Гриша поднял со стола блюдо с картошкой и опустил его на Яшкину голову.

— Что ты делаешь, изверг? Опомнись! За что ты бьешь свою родную

кровь? За ерунду, Гриша! — кричала Фира, и эхо от того крика взлетело вверх, и ангелы унесли его в небеса.

Весь дом слышал ее крик, но только не Гриша. Он затянул на шее узел своего галстука, и потом его грузное тело рухнуло на стол. Яшка лежал рядом в луже крови, которая была цвета спелого граната.

— Ой, мой мальчик умирает! — рвала на себе волосы Фира. — Люди, бегите за доктором Вэйнштейном!

Но за Вэйнштейном не нужно было бежать. Он был уже там с маленьким саквояжем в руках, и первое, что он сказал было:

— Откройте сию минуту окно! У вас же нет ни грамма воздуха чем дышать!

Вэйнштейн был маленького роста, круглый и мягкий, как спелая осенняя дыня, и он имел усы и улыбку, как у знаменитого физика с похожей на его фамилией. Он давно уже был на пенсии, но соседи бежали к нему, если кто-нибудь чихнул, или, не дай Бог, у ребеночка случился понос. Он был из старых еврейских врачей, который учился медицине еще до революции в Швейцарии, и он мог делать все что нужно, чтобы поднять человека.

И в тот раз он сделал все, чтобы Яшка поднял голову и увидел свет в глазах.

Фира улыбалась и плакала, и целовала руки старого доктора. Потом она подошла к окну и стояла недвижно, благодаря Всевышнего.

А за окном было высокое серое небо, и сквозняк уносил в него запахи нетронутых блюд и тошнотворный запах беды. С улицы доносились звуки музыки. Праздник продолжался.

Мельбурн

